

**Р**овно гудят моторы. Ослепительно сияет внизу поле облаков, похожих на снежные валы. Самолёт, снижаясь, вздрагивает, зарывается в белую тьму, и вот уже в облачном разрыве завиднелась заснеженная деревенька...  
Дома!

Перестук колёс мчащей домой электрички — лучшая из всех ритмических мелодий. Глаза возбуждённо скачут, пытаюсь не пропустить ни одной из несущихся навстречу сосен и берёзок. Всякий раз, как возвращаешься из степи, лес первый с восторгом сообщает, что ты дома.

Электричка тормозит у станции Фруктовая, и машинист объявляет через динамик, что по техническим причинам стоянка продлится час. Я выхожу из вагона и углубляюсь в пристанционные улочки. В них какая-то особенная притягательность и словно бы знакомость мне. Скромный памятник погибшим воинам возле станции, небольшая церковка неподалёку, школьный стадион. Возвращаться к электричке не хотелось, удерживала странная ознобная истома. Возможно, то были первые проявления простуды, схваченной на жестоком степном ветру.

Через день по возвращении домой я уже вынужден был идти к врачу. Поликлиника предприятия небольшая и уютная и расположена всего в пяти минутах ходьбы от проходной. В конце длинного узкого коридора на втором этаже дверь с табличкой: «Терапевт». На табличке указана и фамилия терапевта, но мне уже известно, что он уволился

и вместо него приём ведёт молодая женщина с фамилией Тельнова. Зовут её Лидия Зиновьевна.

Она что-то пишет в медицинской карте, когда я вхожу. На ней снежно-белые халат и шапочка, но поражает не накрахмаленная белизна её наряда, а тёплая живая чистота нежнокожей шеи. Меня трясёт озноб. Я поворачиваю голову к окну, за которым стынет на морозе заиндевевшая берёза.

— Что у вас?

Голос у неё мелодичный, светлый, как и облик.

— Температура, насморк, горло...

Она осматривает моё горло, ослушивает стетоскопом грудь, потом садится за стол и пишет. Светлые волосы на затылке убраны под шапочку. Почти прозрачную плоть ушек украшают крохотные серьги. Я ловлю себя на мысли о желанности прикосновения к её шелковистым волосам, прозрачным мочкам, нежному участку шеи в том месте, где её открывают запровленные под шапочку волосы. Воображаемое прикосновение представляется кощунством, меня бросает в жар. Она вдруг изумлённо вскидывает на меня глаза, словно собираясь спросить о чём-то, но не спрашивает. Я не успеваю заметить, какого цвета у неё глаза, зато пронзительно остро ощущаю, как их взгляд ласкает душу.

Она даёт мне рецепты и больничный лист, и я отправляюсь домой лечиться. Комнатка у меня маленькая, и обстановка в ней спартанская: ряд полок с книгами над столом, карта мира над кроватью, лыжи в закуске за шкафом, пара стульев, обувная тумбочка у двери, — ничего лишнего. Меня знобит, надо бы залечь под три одеяла, этого жаждет хворающее тело, но душа протестует: в ней почему-то неуёмное веселье. И почему-то не совсем обычно улыбается мне девушка из висящей на стене журнальной вырезки. Лукавинка у неё в лице, она даже, кажется, подмигивает. Я вдруг замечаю, что и сам улыбаюсь, и улыбка у меня тоже необычная — глуповатая какая-то.

И вместо того, чтобы лечь, как приличествует болящим, я ненасытно хожу и хожу по комнате, пытаюсь утишить необъяснимую радость, но она не унимается.

Через три дня я снова в поликлинике. Опять озноб, только температуры уже нет, меня знобит от загадочно приятного мне страха. Лидия Зиновьевна вскидывает на меня глаза. Я не без рисовки объявляю, что уже совсем здоров, но, несмотря на мои протесты, она продлевает мне больничный до предпоследнего дня года.

30 декабря, войдя в кабинет, я неловко достаю из карманов пиджака два флакона духов: один — для Лидии Зиновьевны, другой — для её помощницы, медсестры Марины.

— Чтобы больше этого не было!

Уловив в строгости её голоса одобрительную интонацию, я возражаю:

— Я буду молить Небо, чтобы это всё же было.

Она вскидывает изумлённый взгляд. Я смиренно поясняю:

— Может, Небо пошлёт мне ещё простуду.

Она чудесно улыбается и весело, с особенно мелодичным переливом произносит:

— Тогда Небу надо поторопиться. Я в вашей поликлинике ведь временно.

Лишь через день доходит до моего сознания смысл сказанного ею: раз она у нас временно, значит, я её больше не увижу, даже если Небо и пошлёт опять простуду. Мною овладевает беспокойство. Я ещё не понимаю, что со мной произошло, но ясно чувствую: мне необходимо, позарез необходимо, чтобы она была не временно, а всегда.

Через неделю моё смятение становится нешуточным. И вдруг меня посылают в командировку. Опять в степь, на полигон. Я лихорадочно пишу что-то на листе. Прочитываю, уже надев пальто, на бегу: «Меня отправляют в длительную командировку, а вы, я не знаю, сколько ещё будете у нас работать. Я сочту себя жестоко обкраденным, если никогда вас больше не увижу. Я не знаю, где вы живёте, скажите и разрешите послать вам письмо».

Я не помню, как оказываюсь у неё в кабинете, вижу лишь её вопрошающие, встревоженные глаза. Кладу на стол перед ней свою записку и ретируюсь в коридор. Через минуту медсестра Марина выносит мне вчетверо сложенный листок. Я развернул его, лишь придя домой. Округлый, ясный почерк, всего одна строка: «ул. Матросова, д. 7, к. 25, Л. 3. Тельнова». Буквы прыгают в безудержном веселье.

Вечером я у её дома. Он двухэтажный. Над дверью — высокое арочное окно, через которое видно лестницу. На коротенькой аллейке палисадника, ведущей к двери, скамья с литым чугуном основанием, на спинке у неё величественная снеговая шапка. Несильный ветер раскачивает деревья, и на снегу, чуть розоватом от светящихся оконных занавесок, играет кружево ветвей. Беззвучный, бесконечный, вливается из полутьмы в уютный световой островок двора падающий снег, — он будто сконцентрировался здесь со всей вселенной, влажные его хлопья залепливают мне лицо, глаза, ресницы. Чья-то рука открывает форточку на втором этаже, и мягкая метель подхватывает рвущуюся на простор мелодию Свиридовского вальса. Кружится снег, кружится музыка, кружится голова...

В иллюминаторе набирающего высоту самолёта уплывают назад, домой, заснеженные поля, леса, деревни. Приятным голоском воркует что-то стюардесса. А в голове — неумолчный вальс Свиридова.

Ко мне подсаживается Валера Холмин, предлагает выпить за «мягкую посадку».

— Я и так пьян вдребезги, Валера. Пью волшебное вино.

Он деловито заглядывает под кресло. Не обнаружив там бутылки, смотрит недоумевающе.

— Я музыку пью, — поясняю я.

Некоторое время он заинтригованно смотрит в мои плывущие невесть куда глаза, потом заключает:

— Никогда ещё таким пьяным тебя не видел.

В два пополудни самолёт приземляется на степном аэродроме. Щеголеватый капитан поздравляет каждого сходящего по трапу с прибытием и тщательно проверяет командировочные удостоверения. На пути от аэродрома к штабу документы проверяют ещё дважды. Заключительная регистрация в штабе — и снова автобус. Теперь он катит нас по прямой, как стрела, дороге на рабочую площадку. Это огороженный колючей про-

волокой островок в степи. Монтажные, испытательные, вспомогательные корпуса, штаб, солдатская казарма, клуб, столовая, пара жилых домов для местных, гостиница для командированных.

В гостинице на этот раз есть свободные одноместные и двухместные номера, но я поселяюсь вместе с Валерой Холминым и Володей Киселёвым в трёхместном. Мы старинные товарищи: нас сдружила работа. Там, на Севере, нашу тройку называют мушкетёрами. Зазвонит в отделе телефон, и поднявший трубку весело кричит: «Мушкетёры, к капитану!» — это значит, нас зовёт начальник на какое-нибудь интересенькое дело.

Только в этот приезд я из коллектива выпадаю. Мне больше нравится уединение, потому что только когда вокруг никого, ко мне является грациозная фигурка в белом докторском наряде. Она хоть и бесплотное видение, но такая радость! Вечером я ухожу к ней на свидание. Лезу в дыру в проволочном ограждении и направляюсь в гудящую от ветра белую степную мглу. Возвращаюсь промёрзший. Холмин и Киселёв уже спят. Тихо раздеваюсь в темноте, ныряю под одеяло и стараюсь подольше не засыпать, чтобы продлить свидание.

В субботу я остаюсь в гостинице один — вся непоседливая братия «промышленников», то есть командированных представителей смежных предприятий, уехала развлекаться в городок. Пользуясь удобным случаем, приступаю к сочинению письма. Два часа уходит на обдумывание формы обращения: Лидия Зиновьевна? Лида? Или просто: «Здравствуйте»? Останавливаюсь на нейтральном варианте: «Доктор». Стёкла в окнах позванивают от ударов ветра. На душе тревожно, какое-то близкое к отчаянию предчувствие. Пишу лист за листом, перечитываю и рву — то слишком дерзко получается, то робко чересчур. К рассвету письмо всё-таки готово. Я убираю его в тумбочку и иду в столовую. Завтракаю в обществе двух офицеров: один — дежурный по части, второй — командированный. Вернувшись в пустую гостиницу, долго стою у окна и смотрю за колючую проволоку в беспредельное белое пространство.

С понедельника начинается аврал. Прилетел Главный конструктор, и ответственные лица получают от него разнос за задержку пуска. Этот пуск должен стать шестым в серии контрольных испытаний ракеты. Работаем теперь до ночи, хотя поспеть в срок всё равно надежды не питаем. Весь комплекс: ракета, пусковая установка, проверочная аппаратура, вспомогательное оборудование — всё даёт отказ. С ожесточением ковыряемся в металле и чертежах, отыскивая причину неисправности; устраняем её, ракета становится на проверку, и приборы с раздражающим упрямством сообщают о новой неисправности. Снова разворачиваем схемы, чертежи, разбираем металл и ищем. Неудачи смертельно утомили. Даже Валера Холмин, влюблённый в своё дело до самозабвения, смотрит на ракету уже с ненавистью.

И всё же успеваем в срок. Чуть не километровая колонна церемониальным маршем движется на стартовую позицию. Я в одном из КУНГов. Здесь и военные, и гражданские. Секретарша Эмма, упросившая взять её в колонну, счастливо щебечет о чём-то, смеётся и даже пытается петь. На лицах у всех оживление, в речах нервозная приподнятость. У Эммы нет пропуска на стартовую позицию. Ей предлагают сойти. Она едва сдерживает слёзы.

Последняя, предстартовая, проверка. Пусковая установка, похожая в свете прожекторов на большого фосфорического жука, глухо урчит движком, готовясь к решительной минуте. Остаётся всего час до назначенного времени, когда обнаруживается, что разница между машинным и ручным подсчётами угла прицеливания превышает допустимую. За столом в бункере собирается комиссия. Военные настаивают на отмене пуска. Промышленники предлагают отодвинуть его на два часа — за это время специалисты-электронщики должны решить проблему. «Через два часа пуск проводить нельзя, — возражает полковник Рябинин. — Над нами будет не наш спутник». Тогда промышленники предлагают провести пуск в назначенное время, невзирая на выход разницы подсчётов из допуска, поскольку заведомая дополнительная ошибка составит всего десять метров. Военные в конце концов соглашаются.

Готовность пятнадцать минут. Не участвующие непосредственно в пуске рассаживаются по машинам. У метеодомика колонна останавливается, и все лезут на крышу, с которой хорошо видна точка старта. Возбуждённые голоса, нервные смешки, огоньки сигарет — всё знакомо и привычно, и всё равно волнует каждый раз.

Остаётся минута. Я впиваюсь взглядом в пусковую. Валера Холмин шепчет рядом с мольбой: «Голубушка, сойди лишь с пусковой, а там хоть в другую сторону лети: ну тебя к шутам — надоела!» И, словно услышав его страстный призыв, хвостовая часть пусковой заволакивается дымом. Внезапная вспышка. Подсвеченный ею тёмный силуэт ракеты медленно, как бы нехотя, отделяется от пусковой. На мгновение он зависает в неподвижности и вдруг с яростью устремляется в ночное небо, огрызаясь острым, как кинжал, языком огня. В уши ударяет вибрирующий мощный гул, затем треск разрываемого воздуха. Через секунду ракета обращается в одну из звёзд на небе.

Валера крепко ударяет меня по плечу. Влюблённо глядя друг на друга, мыжимаем друг другу руки. Праздничные лица, ребячески восторженные комментарии. Дело сделано.

Назавтра утром уже известна точка падения ракеты — координаты этой точки в допуске. Можно уезжать домой.

Я у двери её кабинета. Взволнованно бьётся сердце, пробирает дрожь. Вхожу вместе с очередным пациентом. Она вскидывает на меня глаза и тут же их опускает, затем просит пациента подождать за дверью. Вслед за пациентом уходит и медсестра Марина.

— Вы получили моё письмо? — голос у меня дрожит.

— Да, — отвечает она с весёлостью.

— Оно не рассердило вас?

— Нет, не рассердило, — в тоне её голоса мне мерещится ирония: «На дураков не сердятся».

Мне не хватает воздуха.

— И я не показался вам смешным?

— Не-ет, — в голосе у неё уже серьёзность.

— Я сфальшивил в письме в одном месте. Я написал, что не осмеливаюсь даже и мечтать о том, чтобы вы были всегда рядом. А я об этом только и мечтаю, и если вы скажете, что не...

— Нет, я свободна.

Плавно плывут куда-то стены, потолок, я ничего не соображаю.

— Извините, я должна работать.

— Нет, подождите. Вы... Мне... Я могу вас увидеть не здесь, а где-нибудь ещё?

— Думаю, что можете, — глаза у неё озорно блестят. — Например, по понедельникам, средам и пятницам я работаю в городской поликлинике с двух до семи вечера. Можете увидеть там.

Меня осеняет наконец блистательная догадка.

— Завтра среда, я встречу вас в семь вечера с работы, можно?

— Хорошо.

Вечером назавтра метёт снег. Чарующий он в эту зиму. В его пушистой мягкости дома, деревья, автомашины на стоянках, скамейки в скверах, и всюду высоченные сугробы, а он всё валит, валит, то спокойно-величавый, то тревожно мечущийся, то стремительно несущийся по улице позёмкой.

Я сижу на скамейке неподалёку от парадного подъезда поликлиники и не замечаю, как падающий снег меня заметает. Но вот она выходит. На ней красивое пальто, меховая шапка, сапожки вместо туфель. Так странно видеть её не в докторском халате.

— Простите, что задержалась. Замёрзли?

— Не знаю. Я думал о вас.

Мне боязно сказать что-нибудь не так, и мы идём в молчании. У перекрёстка три ступеньки, забитые утопанным снегом. Я неловко беру её под руку и предлагаю: «Давайте прыгнем!» Мы прыгаем, она смеётся, и я обретаю наконец способность говорить. Я говорю и говорю, и вдруг обнаруживаю, что мы уже у её дома, хотя, кажется, прошла всего минута.

— Давайте посидим, — киваю я на скамью с литым чугунным основанием.

— Да на ней в снегу утонешь! Лучше, если хотите, подождите меня, я оденусь теплее, и мы ещё погуляем.

С этого дня мы гуляем каждые понедельник, среду, пятницу. Она выходит из поликлиники с застенчивой улыбкой, и мы по морозцу, по метели, по зимнему вечернему малолюдьё идём, не разбирая улиц, не замечая ни холода, ни ветра, ни часов. С удивлением вдруг обнаруживаем себя в совершенно незнакомом месте и с весёлостью принимаемся гадать, где мы, хотя отгадывать не хочется, лучше заблудиться, затеряться в дивной зимней сказке. Я без усталости любуюсь её профилем в пушистом, с блёстками снежинок, обрамлении воротника и шапки. Как хорошо жить!

Домой я возвращаюсь за полночь. Скинув пальто, наполняющее комнату морозной свежестью, лезу озябшими руками в холодильник и съедаю всё, что там лежит.

В один из вечеров, когда мы остаёмся у её дома, я решаюсь наконец обнять её. Я несмело забираюсь лицом в мех её воротника всё глубже, глубже. Её отыскавшиеся губы отвечают мне с ума сводящей нежностью, тонкая, восхитительная теплота исходит от их трепетной прохлады. Я хмелею. Она вырывается и бежит по аллейке к дому. Я настаиваю её у двери. «Не сейчас, — шепчет она. — Я приду сама».

Она приходит спустя два дня. Я помогаю ей снять пальто, отряхиваю его от снега. «А где же у вас зеркало?» — с изумлением спрашивает она. Я достаю из тумбочки маленькое в разбитой оправе зеркальце. Женственно плавными движениями она поправляет, глядясь в него, свою причёску. Хлопает пробка, вспенивается вскрытое шампанское. Время не то останавливается, не то, напротив, мчится бешено, образуя в памяти провалы. «Давайте выключим свет в люстре, с ночником уютней», — это её голос. «Давайте», — слышу я свой собственный. Какое наслаждение — прикоснуться к ней губами, целовать затылок, волосы так мягки и так волшебным пахнут. Последовательности в происходящем никакой, всё сразу вместе. Мои руки ощущают мягкую упругость. Это её грудь. В напряжённой тишине я слышу лёгкий шелестящий звук — она снимает платье. Сознание летит в колдовскую бездну. Ночник уже погашен, её волосы рядом, на подушке. От близости её совершенно обнажённого тела — упоительная жуть.

Сидя в своём отделе на следующий день, я никак не могу взять в толк, почему надо листать деловые папки и чертежи в то время, когда мне хочется петь на всю вселенную.словно из тумана, выплывает лысая голова начальника. Она прыгает передо мной, как поплавок. Начальник что-то спрашивает, я что-то отвечаю, и мне странно, что отвечаю вроде бы впопад. Начальник исчезает. Вместо него — массивная голова Валеры Холмина.

— Теперь, как всякий порядочный мужчина, ты обязан на ней жениться, — произносит он приглушённым басом.

— С чего ты взял? — спрашиваю я и краснею.

— С того, что личико у тебя сияет, как медный таз на голове у Дон Кихота Ламанчского.

— Я без памяти её люблю, Валера.

Его взгляд выражает сострадание.

Вечером густо идёт снег и дует тёплый ветер с юга. Мы гуляем с Лидой в парке. Бродим меж деревьев, не разбирая дорожек, по снежной целине. Я неприлично часто останавливаю её и целую ненасытно.

— Что с тобой? — произносит она размягчённо.

— Не бросай меня. Я не смогу без тебя, не бросай!

На деревьях и кустах — уже нежные майские листочки, а в голове по-прежнему метельное круженье. В рабочие часы я с трудом сосредотачиваюсь на деле, хотя близится завершение контрольных испытаний и разворачивается спешная доводка технической документации. Начальник отдела замечает вскользь, что я слишком пунктуально стал уходить с работы ровно в пять и что Холмину с Киселёвым, которые задерживаются до семи, недостаёт моего участия. Мне делается стыдно.

В тот же день, встретив Лиду вечером у поликлиники, я смущённо говорю:

— У нас аврал на работе. До конца мая, а может, и в июне, придётся задерживаться после пяти. Не сердчай, я не смогу тебя встречать из поликлиники. Давай будем встречаться по выходным?

— В выходные я уезжаю к маме, — в голосе и лице у неё неожиданная отчуждённость.

— А со мной ты разве не можешь к ней поехать?

— Мы с вами ещё не помолвлены, я не хочу знакомить маму с первым встречным.

— Ну зачем так, Лида! Я же женщина, у меня есть дело. Не могу же я вечно встречать тебя с работы.

Она вдруг всхлипывает и бежит. Я догоняю её, прижимаю к себе, но она вырывается и зло бросает:

— Не приставайте ко мне, — и быстрым шагом удаляется.

Я прихожу в свою комнату. В голове каменная отупелость. Замечаю, что смотрю на экран включённого телевизора, а чего там показывают — не замечаю. Вздрагиваю от телефонного звонка в вахтёрской: зовут меня. В трубке — Лидин голос: «Мне очень тяжело».

— Прости, Лида! — кричу я как будто с радостью. — До меня дошло, как сильно я тебя обидел.

— Да не дошло, я знаю. Но я уже простила. Я ведь тоже несправедливо тебя обидела.

— Лида, я смертельно по тебе соскучился. Можно тебя сейчас увидеть?

— Конечно, можно.

Через полчаса мы уже влюблённо смотрим друг на друга в парке. От переизбытка радости пускаемся рука в руке бегом. Потом садимся на скамейку.

— Прости меня, дурака, — повторяю я. — Я люблю тебя, как любят раз в тысячу лет, наверно. Я не сообразил: я ведь могу, не заходя домой после работы, бежать встречать тебя.

Склонив голову и косясь на идущую по аллее женщину с детской коляской, она тихонько трётся щекой о моё плечо, потом спрашивает:

— В эту субботу ты свободен?

— Нет. Начальник сказал, надо поработать.

— Жаль. Я хотела пригласить тебя поехать вместе к маме. Не знаю, почему не догадалась раньше пригласить.

— Но мы по субботам обычно до часу только, может, ты меня подождёшь?

— Не могу. Я обещала маме приехать утром.

— А где твоя мама живёт?

— На Фруктовой. Двадцать минут на электричке... Почему ты так смотришь?

— Я там был зимой. Возвращался из командировки, и на Фруктовой объявили, что электричка будет стоять час. Я там погулял по улицам. У меня было чувство, будто я видел эти улицы когда-то раньше. А через день увидел в первый раз тебя.

— Раз ты там был, то можешь и без меня приехать: я встречу тебя на станции. Есть в два с чем-то электричка. Успеешь на неё?

— Непременно.

В субботу в половине третьего я выхожу из электрички на Фруктовой. Никто меня не встречает, но душа всё равно ликует — я уверен, что всё будет хорошо. Гляжу на памятник погибшим воинам, на церковку, и как тогда, зимой, возникает ощущение родного. Лида появляется неожиданно. У неё учащённое дыхание. Она бежала.

— Полы мыла и прозевала время, — говорит она с застенчивой улыбкой.



Её родительский дом недалеко от станции, в глубине сада. Лида представляет меня матери. Убранство комнаты простое, но всё дышит свежестью и чистотой. Лида, помогая матери накрывать на стол, грациозно ступает босыми ногами по половичку. На минуту оторвавшись от дела, она садится на диван рядом со мной и тихо шепчет: «Поцелуй меня». Я прикасаюсь губами к её губам с возвышенной торжественностью, точно воин, целующий боевое знамя. Она отвечает серией быстрых лёгких поцелуев.

За столом её мать рассказывает, как растила пятерых своих детей. С гордостью сообщает, что все получили высшее образование. «Живут по-доброму и мать не забывают, — она с любовью взглядывает на Лиду. — Младшенькая вот замешкалась, остальные подарили уже внуков».

После застолья мы пробираемся с Лидой меж дремучей огуречной ботвы к калитке и отправляемся к реке. Берег высоченный и крутой и весь изрезан глубокими оврагами, по зелёным склонам которых разбросались юные берёзки. Я заворожённо смотрю на луговое равнинное заречье — своей необъятностью и открытостью до горизонта оно напоминает степь.

Мы находим уединённую лужайку, полого сбегаящую меж двух оврагов к береговому обрыву. Трава густая, мягкая. Садимся, я целую, под моим натиском Лида с тихим смехом опрокидывается, тут же поднимается, и снова я валю её.

Потом я, цепляясь за ветви кустов, спускаюсь с обрыва к воде. Течение относит меня далеко от места, где вошёл в воду, и, возвращаясь берегом, я долго не могу найти лужайку. Но вот, выбравшись из овражка, вижу Лиду. Она неловко сидит, поджав под себя ноги, и ожидающе смотрит в сторону реки. Что-то трогательно горестное в её лице и во всей её скорчившейся на траве фигурке. Я внезапно с острой и счастливой болью осознаю, что роднее этого существа у меня нет никого на свете.

В семь вечера мы отправляемся на электричку. В переполненном вагоне душно. Мы пробираемся в середину, я замечаю сочувственные, благожелательные взгляды, — видимо, мы симпатичная людям пара. Один мужчина, поднявшись со скамьи, уступает Лиде своё место. Она, поблагодарив, садится и достаёт из сумки книгу и газету: книгу — для себя, газету — мне. Спустя некоторое время она поднимает глаза от книги. В вопрошающем её взгляде словно бы страдание. Я наклоняюсь, тихо спрашиваю: «Что?» — «Ничего», — отвечает она, но улыбка у неё печальная.

В город приезжаем в половине восьмого. Я долго уговариваю зайти ко мне. Она наконец соглашается.

— Тебе кофе или чаю? — спрашиваю я.

— Ничего не надо. Посиди со мной.

Мы садимся и смотрим друг на друга.

— Останься до утра.

— Не могу. К понедельнику надо постирать халат и ещё кое-что.

— Завтра постираешь. Выходной ведь.

— Завтра я еду в Москву к сестре и вернусь поздно... Знаешь, я прилягу ненадолго, устала. Только раздеваться не буду.

Мы, не раздеваясь, ложимся рядом на кровать. Окно вдруг темнеет. В комнате делается сумеречно. Вдруг раздаётся раскат грома, и тут же оконное стекло застилают дождевые струи. Первая гроза. Да такая мощная, как в июле! Я вскакиваю и распахиваю окно настежь. Редкостный по красоте и силе ливень! Вода падает сплошной стеной. Не проходит и минуты, как по тротуару уже несётся, точно в наводнение, бурный пузырящийся поток. Стайка девушек, сняв туфли, с весёлым смехом пробегает прямо по нему. Лида смотрит широко раскрытыми, изумлёнными глазами. «Я этого никогда не забуду», — зачарованно произносит она. Я набрасываюсь на неё с поцелуями, охмелев, прошу раздеться. «Ну хорошо, — неожиданно быстро соглашается она. — Закрой окно и не смотри на меня».

То ли ещё вечер, то ли уже ночь. Я слышу её шёпот: «Как же хорошо с тобой, — и вдруг она точно взрывается в страстном порыве и почти кричит: — Я люблю тебя. Люблю! Люблю!» И этот её крик навсегда застывает в моей памяти.

В середине мая в наши отношения вмешиваются тёмные силы. Меня неожиданно посылают на полигон. Звоню Лиде. Отвечают, что она уехала в Москву и вернётся только завтра. Командировка, слава богу, недолгая. По возвращении тут же звоню. Она бросает трубку. Бегу к ней — она не желает со мной разговаривать, потому что «ревела из-за меня целую неделю, а мне и горюшка нет». С трудом удаётся объяснить, что я не виноват. Со слезами на глазах она облегчительно смеётся и сообщает, что её берут в нашу поликлинику на полную ставку насовсем. «Я уже ушла из городской, — радостно говорит она. — Не надо тебе больше бегать меня встречать по вечерам. Позвонишь по внутреннему — и я перед тобой, как лист перед травой».

Новый режим встреч в один из ближайших дней даёт «осечку». Договариваемся по телефону о встрече у Дворца культуры, забыв, что в городе их два. Она ждёт меня у одного, я, естественно, прихожу к другому. В результате недельная размолвка. Потом всплеск радости от примирения. Она приглашает на спектакль гастролирующего столичного театра, у неё уже есть билеты. Она трижды повторяет, чтобы я не позабыл, в каком именно Дворце культуры идёт спектакль. Мы договариваемся встретиться у входа. В назначенный вечер я начинаю собираться с большим запасом во времени — внутренний голос говорит, что лучше идти пешком. Но время в сборах пролетает неожиданно быстро. Видя, что пешком уже не успеваю, я бегу на автобус. В спешке сажусь не на тот. Ошибку обнаруживаю, когда исправить её уже невозможно. Когда подбегаю наконец к Дворцу, Лиды у входа, конечно, уже нет — спектакль давно начался.

Процесс примирения на этот раз болезненно затягивается. У Лиды серьёзные сомнения в моей правдивости. Но вот, вроде, всё снова хорошо: она приглашает меня ехать в субботу вместе к маме. Поскольку в эту субботу до часу дня я работаю — выбираем двухчасовую электричку. Но, увлечшись делом с Холминым и Киселёвым, я пропускаю время. Когда прибегаю на станцию, электричка уже ушла, а следующая идёт поздно вечером.

Неделю после этого не пытаюсь даже звонить, только ношу цветы вахтёрше в доме, где живёт Лида, прошу передавать их ей с приложением моих записок. Наконец она сама звонит мне, говорит, что простила, и предлагает совершить в выходные экскурсионную поездку в Суздаль: у неё на руках уже путёвки. Но у меня на руках уже командировочное удостоверение — в пятницу я должен ехать на полигон. Я сообщаю ей об этом. Она бросает трубку.

Мы на скамье у её дома. Мы помирились, но в ней пугающая перемена. Нет прежней искренности, открытости, и пропало изумление в глазах. Я тискаю её хрупкие пальцы и с мольбой смотрю в её серьёзные, потемневшие в вечерних сумерках глаза.

— Может, нам пора вступить в брак, Лида? Только надо бы нормальную квартиру, а при моей зарплате долго ещё на неё работать. А в коммуналке...

— Не в квартире дело, милый. У мамы есть деньги мне на квартиру, когда выйду замуж. Дело в твоей работе. Эти твои бесконечные командировки... Хочешь, помогу устроиться на частную фирму? У меня есть связи. Там сейчас как раз вакантное место на должность технического писателя. Зарплата в десять раз больше, и никаких командировок. Если...

— Нет, нет, Лида, это пустой разговор. У мужчины должно быть дело. Своё, по душе, понимаешь? У меня такое есть — зачем мне другое? Тем более в частной лавочке...

— Жа-аль, — с многозначительной растяжкой произносит она.

Мы надолго замолкаем. Она высвобождает свои пальцы из моих и смотрит в землю.

— А знаешь, — произносит она вдруг наигранно весёлым голосом, — у меня есть поклонник.

— Рад за тебя. Давно завела?

— Недавно. Когда ты был в командировке... Шучу, конечно. Это старинный мой поклонник, ещё со студенческой поры. Однажды я в шутку приказала ему сесть в воду под фонтаном на людной площади, и он сел. В одежде прямо! Миленький, не хочешь менять работу ради меня — сядь тогда хотя бы в эту клумбу. Ну сядь, прошу. Неужели так уж трудно?

— Ты это опять шутишь?

— Нет, не шучу: мне важно знать, на что ты ради меня способен.

— На многое, Лида, но не на шутовство. При других обстоятельствах сел бы не только в клумбу — на раскалённое железо сел бы, но сейчас...

— Не сядешь?! — её звенящий вскрик, точно удар в лицо плетью.

— Сейчас не сяду.

Она резко поднимается и уходит в дом. Я тоже ухожу. Придя в свою комнату, обращаюсь к улыбчивой девушке из журнальной вырезки на стене: «Похоже, мы опять с тобой одни, белозубая. Если бы ты знала, как хреново!» Но «белозубая» отвечает бесстрастной, легкомысленной улыбкой, и я склоняюсь к мысли, что у всех женщин вместо сердца камень.

Через день меня посылают в длительную командировку. Звоню Лиде — она, естественно, бросает трубку. Возвращаюсь я в июле. Вахтёрша сообщает, что во время моего отсутствия меня спрашивал по телефону женский

голос. Звоню Лиде в поликлинику. Она просит меня прийти к ней прямо в кабинет. В переизбытке радости взбегаю на второй этаж, останавливаюсь перевести дух у двери с табличкой: «Терапевт Тельнова Л. З.» Пациентов в коридоре нет — видимо, приём окончен. Войдя и увидев её, сидящую за столом в белом докторском халате, внезапно ощущаю робость: воскресают во всём первозданном буйстве чувства, испытанные здесь зимой. Марины в кабинете нет, мы одни. Лида смотрит на меня пристально и нежно. И вдруг будто обрушивается потолок:

— Я выхожу замуж.

— Опять шутишь?

— Не шучу.

— За кого же? За того «старинного поклонника»?

— Это не важно.

— Двойную игру вела, выходит?

— Не-ет! Это произошло недавно. Я звонила тебе каждый день, а мне отвечали, что ты в отпуске. Уехал в отпуск и не сказал!

— Да не в отпуске я был, а в командировке. Вахтёрша, видно, перепутала.

В её глазах недоверие, но слёзы просыхают.

— Всё равно, — обречённо говорит она. — Нам нельзя быть вместе.

— Почему? Ты разлюбила меня?

— Нет, наоборот, слишком люблю.

— Это замечательно. Я тоже люблю тебя сверх всякой меры, но всё-таки не думаю, что это «слишком».

— Мама говорит: нельзя идти замуж за того, кого слишком сильно любишь, — слишком много будет муки.

— А свой ум на что?

— Я с ней согласна.

— Но это же безумие! Плохо оттого, что сильно любишь!

— Сейчас не плохо, но в браке...

— Такой взгляд на брак — для бескрылых, Лида. Ради любви не грешно, наверно, претерпеть и муки.

— Я не окончательно ещё решила, я, может, ещё передумаю.

— «Может...», — горько усмехаюсь я. — Выхваченное из кобуры оружие стреляет, Лида.

Глянув в окно на роскошную июльскую листву берёзы, я направляюсь к двери и вздрагиваю от её крика: «Подожди-и!» Оборачиваюсь, она бросается мне на грудь, у неё снова на глазах слёзы. Мы долго стоим в объятии. Она вскидывает голову и умоляюще просит:

— Не спеши с выводами. Подожди.

— Хорошо, подожду. Решай.

— Звони мне, — говорит она, но через паузу виновато добавляет: — Только не домой. В поликлинику.

— Значит, всё-таки двойная игра...

Она виновато улыбается, и эта её не считающая нужным оправдываться виноватость представляется мне садистской. Я мысленно даю себе слово, что скорее умру, чем позвоню первый.

Кажется, столетия длится это истязание. Всякий раз, когда раздаётся телефонный звонок в отделе на работе или дома из вахтёрской, я болез-

ненно вздрагиваю, и у меня бешено начинает колотиться сердце. И всякий раз, вопреки отчаянной надежде и мольбе, оказывается, что это звонит не Лида. У меня сдают нервы, покалывает сердце, но в голове упрямо долбится: «Нельзя! Не позвоню!»

В один из выходных подступает ощущение, что телефонные звонки в вахтёрской доведут до сумасшествия. Я выскакиваю из дома и иду куда глаза глядят. По наущению враждебных сил оказываюсь возле магазина-салона для новобрачных и обнаруживаю там Лиду: она входит в магазин с незнакомым мне мужчиной. В окно видно, как её малорослый, ниже неё, спутник примеряет на себе пиджак. Она деловито его оглядывает и оживлённо что-то говорит. Вспышка ненависти бьёт мне в голову так мощно, что на долю секунды я утрачиваю зрение. Потом бегу прочь в страхе быть увиденным и заподозренным в подглядывании.

Меня окликает женский голос. Это былая моя подруга. Она всё ещё звонит мне иногда, хотя после знакомства с Лидой я откровенно избегаю с ней встречаться. Но сейчас я ей как будто рад. Я рад сейчас всему, что хоть ненадолго отвлекает от мучительно жгущей ненависти. Она спрашивает, когда я к ней вернусь. Промямлив что-то неопределённое, я наконец вятно заключаю:

— Давай оставим этот вопрос пока открытым.

— С докторшей лучше, что ль? Она красивше меня?

— А-а, ты в курсе, — апатично удивляюсь я, и тут кипящая во мне ненависть выплёскивает омерзительную фразу: — Докторша мне даёт больничный, когда нужно.

Ночью я не могу заснуть. Забываюсь временами на минуту, но и в забытьё не отпускает мука. В пять утра наваливаются удушье и сильная боль в сердце. Бегу в вахтёрскую, бужу Кузьминичну, прошу лекарство.

Потом хожу взад-вперёд по комнате. Чудовищная пропасть предстоящего выходного воскресенья ужасает, от этого ужаса временами в глазах меркнет свет. День тянется, как тысячелетие, дольше, чем тысячелетие.

До вечера я всё же доживаю, но воля на исходе. Не отдавая себе в том отчёта, иду в вахтёрскую, и рука сама, помимо воли, набирает на телефоне выпрыгивающий из всех ячеек мозга номер. Слышу в трубке нежный Лидин голос:

— Что же не звонил так долго? Ты нарочно меня мучил, да?

— Не хотел тревожить, пока решаешь, за кого пойдёшь, — я изо всех сил стараюсь говорить спокойно.

— Я уже решила.

— За кого же? — голос у меня садится, делается хриплым.

— Замуж я не пойду ни за кого... — помедлив, она тихо добавляет: — Ни за кого, кроме тебя, любимый.

— Если ты это шутишь, — говорю я тише даже, чем она, — то это чересчур жестоко.

— Не шучу.

— Лида! — вскрикиваю я с такой внезапной силой, что сидящая за столом Кузьминична тоже, вскочив со стула, вскрикивает.

— Лида, — повторяю я уже спокойнее, — тебя можно сейчас увидеть?

— Жду у своего дома.

Я подбегаю к её дому. Голова слегка кружится от густо-сладкого аромата цветов жасмина, кусты которого стоят живой стеной вдоль низенькой ограды палисадника. Она выходит минут через десять. Во взгляде у неё яростная ненависть. Яростен и холод в голосе:

— Только что звонила дама, твоя невеста, как она сказала. Обещала волосы мне выдрать, а заодно сообщила, какой ты с ней ласковый в постели, а я тебе нужна лишь, чтобы получить больничный. Мне плевать на остальное, но больничный... Ты правда так сказал?

— Правда, но... — я с ужасом вдруг осознаю себя преступником, пойманым с поличным. Оправдываться у меня нет сил.

— Как гадко, — тихо произносит она и, закрыв лицо руками, медленно уходит.

На следующий день мне надо отправляться в командировку. Вечером трижды звоню ей, и трижды мне отвечают, что она не хочет брать трубку. Прибегаю к её дому, прошу дежурную вызвать её. Выходит её подруга. «Лида просит, чтобы вы больше её не беспокоили», — говорит она, глядя мне в глаза с садистским состраданием.

Поздний вечер. Изнуряющие жара и духота. Электронщики Соснихин и Бессонов сидят друг против друга за столом и придумывают гипотезы, объясняющие причину неисправности. Один гипотезу предложит, другой опровергает. У Соснихина испуганно округлены глаза, на лбу от этого глубокие складки, по которым сбегают к щекам крупные капли пота. Ни одна из гипотез не выдерживает критики. Соснихин устремляет взгляд к потолку, где уже дремлет в своей кабине крановщик. Бессонов, обиженно косясь в сторону проверяемой ракеты, спрашивает, нет ли у меня какой гипотезы.

— Нет, — отвечаю я с унылостью.

— Плохо дело, — говорит Бессонов.

— Да, хреново, — соглашается Соснихин.

Они раскладывают во всю длину стола электрические схемы и начинают думать. Через полчаса рождается первое решение: «Пойдём покурим». После перекура Бессонов садится за стол к схеме, Соснихин приносит связку кабелей и тестер. Заглянув в схему, Бессонов командует:

— Девятый — минус, двенадцатый — плюс.

Соснихин тыкает штыри в гнезда разъёмов на распределительном щите и бодро отвечает:

— Следующий.

— Седьмой — минус, двадцать шестой — плюс.

— Где ты там двадцать шестой нашёл? Нет такого.

— Прошу прощения: седьмой — минус, шестнадцатый — плюс...

Тыканье штырей, кажется, никогда не кончится. Уже испробованы три связки кабелей, голоса электронщиков, вначале звонкие, звучат всё безнадёжней. Майор Слынько делится со мной информацией о тяготах полигонной службы. «Жена всерьёз хочет потребовать от командира гарантию на встречи со мной хотя бы раз в неделю, — сообщает он. — А и правда, словом с ней не перемолвишься: утром на службу едешь — она ещё не проснулась, вечером приезжаешь — уже спит...» В облике майора — обязательная мужская мягкость. Бархатисто мягки его тёмные глаза, мягки

очертания губ и подбородка. В расстѣгнутом вороте гимнастѣрки, в чуть сдвинутом с должного положения поясным ремне, в ленивой позе тоже сквозит мягкость.

«Ради чего этот красивый парень крадѣт у себя и жены счастливые часы? — думаю я с тоской. — Стоит ли того эта труба, начинѣнная электроникой и прочей дребеденью? Ну, научим мы её попадать в гвоздь за сотни километров — разве станет от этого счастливее хоть один из живущих в этом странном мире? Вкладываем в неё душу, ночью вот работаем, а государственные мужи помирятся и договорятся эту опасную для человечества железку уничтожить. А нам скажут: делайте другую, — вдруг государственные мужи опять поссорятся... Суета сует и всяческая суета. Может, зря я не послушал Лиду: сидел бы сейчас спокойненько в частной фирме да инструкции на бытовую технику пописывал. Пре-стижно, денежно и без авралов. И с Лидой было бы всё гладко. Впрочем, нет, гладко всё равно бы не было: конфликт, видимо, запрограммирован. Кем или чем запрограммирован — бог весть. Может, генами? Во всяком случае, так уж устроено, что чем сильнее любишь, тем выше требования к любимому, а ни один из живущих в этом мире высоким требованиям не отвечает. Отсюда вечная трагедия. Права Лида: когда слишком сильно любишь, слишком много муки...»

— Третий — минус, семнадцатый — плюс, — доносится утомлѣнный голос Бессонова.

— Следующий, — вяло откликается Соснихин.

Наконец, тыканье штырей прекращается, электронщики снова изучают схемы. Из вспомогательной боковушки в тишину вкрадывается какой-то шорох. «Воробей, наверно, — говорит Слынько. — Утром ещё залетел, — он оглядывается на дремлющего в уголке рослого солдата и, не изменив ни позы, ни ленивого выражения в лице, одним лишь расчѣтливо-экономным движением лѣгких издаѣт неожиданно громкий крик: «Кузьмин!» Солдат вскакивает с закрытыми глазами, открывает их, уже вытянувшись во весь свой богатырский рост. — Поймай воробья и выпусти на волю, а то он помрѣт».

Кузьмин уходит в боковушку. В течение четверти часа оттуда слышен грохот падающих табуреток, затем наступает тишина, и Кузьмин появляется с осторожно придерживаемым в ладони воробѣем. Воробей отчаянно щиплет клювом эту огромную ладонь, а солдат довольно улыбается. «Молодец, — говорит майор. — Поди выпусти его, воробьи свободу любят».

В первом часу ночи электронщики находят-таки причину неисправности. Солдаты подстыковывают к ракете кабели, мы усаживаемся у пульта, начинается проверка. На этот раз отказа нет, ракета готова к пуску. Завтра, то есть уже сегодня, через пятнадцать часов, объявят пятнадцатиминутную готовность, и мы полезем на крышу метеодомика. Полыхнѣт огонь, и ракета, точно оживший железный организм, рванѣтся вверх. Ударит в уши вибрирующий гул, прочертит небо белый дымный шлейф и увязнет вдали в голубом пространстве. В наступившей странной тишине изумлѣнно свистнет неподалѣку суслик, и начнутся поздравления, рукопожатия, комментарии — всё, как всегда. И можно будет улетать домой. Но при мысли о доме меня пронизывает холод пустоты, сердце сжимается от боли.

Я звоню Лиде в поликлинику. В трубке её нежный, такой родной, такой милый голос:

— Да-а?

— Я только что приехал из командировки, Лида. Можно тебя увидеть? Я всё тебе объясню. Ты поймёшь и простишь меня.

— Поздно, милый, я замужем уже.

Через неделю, подойдя в муке к двери её кабинета в поликлинике, я вижу на табличке вместо фамилии «Тельнова» другую — чужую, странную. Спустя месяц мы случайно встречаемся на улице. Я беру из её рук полную провизией хозяйственную сумку, и мы идём рядом и молчим. Она останавливается у полосы кустарника, обламывает веточку с белыми бусинками, — оказывается, уже осень.

— Ну что ты так смотришь на меня! — в её голосе мольба, просьба о пощаде.

— Любуюсь. Ты такая красивая.

— Чего ж красивого! Убить меня мало, — глаза у неё наполняются слезами.

В квартале от своего дома она останавливается и виновато просит дальше её не провожать. Я отдаю ей сумку и молча смотрю в её когда-то такие наивно изумлённые, а теперь просто красивые глаза.

— Мне очень тяжело, — признаётся она напоследок.

Я возвращаюсь в свою комнату и хожу по ней. День сменяется ночью, наступает утро. Я отправляюсь на работу, чем-то там занимаюсь, потом снова хожу по комнате. От двери к окну, от окна к двери. Когда делается невыносимо, выскакиваю на улицу. Но ускользающая нить жизни не даётся и там. Я выброшен из трёхмерного пространства, меня вдавило в плоскость двухмерного. Я мечусь в этой мёртвой плоскости в поисках прежнего широкого мира, но выхода не нахожу, и эта безвыходность нагнетает ужас.

Пробуждение, словно от толчка. Предчувствие какой-то перемены. В комнате уже светло, даже необыкновенно светло для утра. Отодвигаю оконную занавеску и зажмуриваюсь от ослепительной белизны свежеснеженного снега. Зима... Перед глазами возникает заснеженная улица. Не та, что за окном, — другая. Забитые утоптанном снегом три ступеньки. Я несмело беру Лиду под руку и говорю: «Давайте прыгнем». Мы прыгаем, и она смеётся, и её полный жизни смех доносится из ушедшего так отчётливо, так ясно.

По коже головы у меня вдруг пробегает приятно подкатывающий холодок: откуда-то издали доносится смутно различимая знакомая мелодия. Я кидаюсь к приёмнику, торопливо кручу настройку. Вальс Свиридова врывается в комнату с внезапной громкостью. Я слушаю стоя. Сердцем, кожей, какими-то особенными нервами, от которых к глазам подступают очистительные слёзы, я чувствую, как вместе со светом этой музыки в меня входит жизнь.

Я одеваюсь и с продолжающей звучать во мне музыкой иду к Лидиному дому. Она здесь уже не живёт, она с мужем живёт теперь в стандартной панельной девятиэтажке, но для меня она здесь по-прежнему. Уютный тихий двор, скамья в аллейке палисадника, знакомое окно. Только занавеска в окне другая. Кто там теперь? Чья радость, мука?..

На деревьях опять нежные весенние листочки. Праздничные лица. Из-за окна доносится: «...Этот праздник со слезами на глазах...» День Победы.



Я отправляюсь на площадь, где выстроились готовые к параду воинские подразделения. Протискиваюсь через толпу. Меня останавливают знакомые, поздравляют с праздником. Но праздничное многолюдье пока ещё не для меня. Среди людей мука одиночества острее.

Я сажусь в электричку и еду на Фруктовую. Здесь всё так же: церковка, школьный стадион. Памятник погибшим воинам весь в цветах. Долго стою у родительского Лидино дома, потом иду к реке. Знакомые овражки с юными берёзками, знакомая лужайка. Зелёно-голубая безмятежность шепчет что-то сокровенное, страдание делается возвышенным и светлым. Я смотрю в равнинное заречье, пытаюсь там, вдали, за горизонтом, выглядеть какой-то важный для меня ответ. Увы! Мне отвечает лишь бесстрастно ласковая, но немая негала...

Автобус катит по прямой, как стрела, бетонке. Со всех сторон одно лишь небо. Неподвижный воздух, кажется, гудит от зноя. Остановка у КПП. Сонный, разомлевший на жаре сержант с красной повязкой на рукаве долго рассматривает моё командировочное удостоверение. «Всё в порядке», — произносит он как будто с сожалением. Поднимается шлагбаум. Мы в военном городке.

Отметив в штабе своё прибытие, я поселяюсь в гостинице в одноместном номере, принимаю душ и отправляюсь на прогулку. Однотипные двухэтажные дома, кинотеатр, ресторан, столовая, магазины — ничего особенного, но я замечаю вдруг, что соскучился по этому незатейливому городу. Впрочем, собственно город примыкает к военному городку со стороны западного КПП. Пропуск на выход в него у меня ещё не оформлен, поэтому лезу через дыру в проволочном ограждении. Длинная улица, похожая на деревенскую, — дома почти все одноэтажные, только не бревенчатые, а глинобитные, лишь облицованные досками. Улица выводит в степь.

Через час ходьбы я оказываюсь посреди перенасыщенного солнцем неба, в котором застыли в неподвижности крохотные облачка. Вдали маячат, точно игрушечные, силуэтики верблюдов, — ноги у них, как спичечки, и словно повисают в воздухе, застеленные снизу белёсой, колеблемой жаром земли воздушной полосой. Чем дальше я иду, тем беспредельнее распаивается ширь земли и неба. Вверху, возле солнца, парит орёл. Из-за островка буреющей уже травы высовывается суслик. Он поднимается на задние лапки и следит за моим приближением немигающими бусинками глаз. Он весь дрожит от любопытства и от страха и скрывается в норке, лишь когда между нами остаётся один шаг.

Я набредаю на влажную низинку, покрытую ярко-зелёной травой с алыми головками тюльпанов. Приседаю на корточки и нагибаюсь к цветку. Он остро пахнет землёй, солнцем, природной свежестью. В ушах начинает звучать мелодия, которую я когда-то слушал в комнате у Лиды: «Тюльпаны — улыбка весны...».

В город я возвращаюсь, когда солнце, опускаясь к горизонту, уже слегка порозовело. Контуров домов, облитых розовато-жёлтым тоном, так контрастны, что кажется, будто это нарисовано ребёнком.

Возле сквера на центральной улице меня вдруг останавливают звуки свиридовского вальса. Он доносится из-за деревьев сквера. Я поворачиваю туда. Музыка выходит из полуоткрытого окна массивного кирпичного дома. Там, внутри, промелькивает что-то лёгкое, изящное. Я подхожу

ближе. Это молодая женщина. Она в белом платье. Кружится в вальсе под музыку одна. Я смотрю на неё с необъяснимым чувством радости. Вспоминается вдруг яркая картинка из школьного учебника, лист клёна меж его страниц, любимая учительница... И вдруг вспыхивает озарение: ничто никуда не ушло, всё остаётся со мной навечно, — это абсолютно ясно, как и то, что вместе со страданием в моих генах запрограммировано необъятное, нескончаемое счастье.